



К. Д. БАЛЬМОНТ

Сквозь строй¹ (памяти Некрасова)

Поэт! Какое это нужное слово — поэт! С этими несколькими буквами мы привыкли сочетать целый строй гармонических ощущений. Произнося это слово, мы чувствуем что-то неопределенно-красивое, волнующее, манящее, что-то, напоминающее нам о том счастливом и обаятельном, чего желаем мы все. И вправду, что может быть нежнее ритмических строк и повторительных созвучий? В них и музыка и живопись, в них и зыбкая прелесть предчувствия и окутанные дымкой родные тени воспоминания. Детство и юность, первая любовь, первые робкие журчания ручья, пробивающегося из темной земли к свету и воздуху, переливы зеленых трав, перемешанных с цветами, над которыми тихонько пролетает майский ветер, бездонность голубого неба, красота белоснежных облаков... Как хорош мир, как много в нем чар, и как сильны, как ярко-полнозвучны эти чары в стихах. Поэт умеет обо всем сказать нежно и вкрадчиво. Он опишет нам, как в весенних лучах, поднимая облака цветочной пыли, идет и гудет зеленый шум, как белые, млечные, стоят вишневые сады, и тихохонько шумят, как по новому весеннему трепещет все в мире, — и бледнолистная липа с новым листовым убором, и стройная красавица рощи белая береза с зеленою косой, и малая тростинка, и высокий клен. Он покажет нам прелесть безмерных полей, покрытых спелую рожью; как волшебник, подслушавший голос земли, он представит нам колосья несметную ратью, вот они растут в фантастическом сне, они подступают к захваченной сонною грезой жнице, машут, шумят, касаются лица ее и рук, и, свершая мировой закон сеянья и жатвы, сами наклоняют под серп свои стебли.

И сколько еще есть в мире того, что оживет преображенной жизнью под кистью поэта. Золотые осенние листья, пушистый снег, полноводные безмолвные реки, радость дружбы, жизнь на воле, очарование

женских лиц, очарование женской ласки. И Муза приходит к поэту, Муза, о которой один из нежнейших певцов сказал, что слова у нее перемешиваются с поцелуями.

Но как описывает свою Музу тот поэт, о котором мы говорим сейчас?

Вчерашний день, часу в шестом,
Я шел через Сенную.
Там били девушку кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди—
Сестра твоя родная...»².

Какой странный образ! Быть может, он возник в уме поэта случайно? О, нет, это был длительный кошмар, и перед самой смертью, в одном из последних своих стихотворений, он повторяет тот же образ:

Не русский взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу³.

В юности Некрасов узнал, что значит не иметь на что пообедать, в юности он узнал, что значить ночевать с нищими в ночлежном доме, а в старости, перед раскрывшейся могилой, он чувствует над собою поднятый кнут. Оброшенность, нищета, духовное насилие — страшные слова, когда это не слова, а действительность. Некрасов видел нечто и еще более страшное: духовное насилие, соединенное с физическим. Его детская и юношеская впечатлительность была раз навсегда поражена и изуродована созерцанием того ужаса, который назывался крепостным правом. Мы, хотя еще не свободные, но в значительной степени освободившиеся, уже не можем теперь понять, как могла существовать хоть один год, хоть один день такая гнусность, как крепостное право. Некрасов был такой же, как мы, такой же, как лучшие из нас, а между тем его личность слагалась при долгом, длительном, до бесконечности тянущемся ощущении бесчеловечного порядка вещей, которому конца-края не предвиделось. Шли дни, месяцы, годы, уходили десятки лет, а насилие над душой и над телом миллионов продолжалось, и не цветы возникали перед поэтом, а кровь, перемешанная с грязью. И душа того, кто мог бы слагать мелодические песни, научилась кричать, эта израненная душа прошла сквозь строй, и зеркало поэта, где всегда так много хрустальной

глубины, разбилось, перед нами лежат его обломки, и в этих обломках красивой зеркальности мы видим искаженные мучительные лики, они кричат, они молят, они проклинают, они горько молчат, но хранят ли они молчание, или нарушают его, они неизменно обвиняют и сетуют. Убогая, трижды несчастная страна, обиженная Богом, плоская, скучная, холодная, безрадостная. Болота, кочки, темные леса, равнины, над которыми песня звучит как стоны. Деревни, деревушки, беспросветная глушь. Тяжелые рабские города, где все так темно, сжато, бедно, искривленно, изуродовано. Больница, тюрьма, кабак, каторга. Бесконечная тянется дорога, и на ней вслед промчавшейся тройке с тоскою глядит красивая девушка, придорожный цветок, который сомнется под тяжелым грубым колесом. Другая дорога, уходящая в зимний лес, и близ нее замерзающая женщина, для которой смерть великое благословенье, потому что в ней избавление от вдовства и крестьянских тягот. Опять бесконечная тянется дорога, та страшная, которую народ прозвал проторенной цепями, и по ней, под холодной далекой луной, в мерзлой кибитке, спешит к своему изгнаннику-мужу русская женщина, от роскоши и неги в холод и в проклятие, от свободы к звону кандалов, от цветов, цветущих и летом и зимой, к непрекращающейся попытке тюремных коридоров и мучительных фантомов каторги.

Эти образы, созданные Некрасовым, или, вернее, взятые им из русской жизни, трагичны, но в них есть красота трагического. В них есть романтическая прелесть, причиняющая нам одновременно и боль, и наслаждение.

В его творчестве есть целый ряд других образов, трагизм которых тем ужаснее, что в них нет очарования, они страшны и смешны в одно и то же время, они несчастны и пошлы, это отбросы, покрытые плесенью, жалкие поросли сточных ям.

Всероссийский Иван, у которого изуродованы грубою силой не только челюсти, но и душа, и не только душа, а и все его избитое тело, так же пошл и так же ужасен, как поддерживаемые и скрываемые атмосферой мракобесия юбиляры и триумфаторы, эти строители храмов и домов, под фундаментом которых, как в Средние века, для крепости зданий заложены трупы замученных людей. Рыдающий пьяный Зацепа, который, по слову князя Ивана,

На миллион согреша,
На миллиарды тоскует⁴, —

и «Христов мужичок» Федор Шкурин, и красноречивый Леонид, который взывает:

О, Господи, удвой желудок мой,
Утрой гортань, учетвери мой разум,
Дай ножницы такие изобрести,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом —
Вот русская незыблемая честь⁵, —

все эти благородные фигуры живут — чудится, что они вот тут между нами, и слова того же Леонида звучат горьким многолетним остроумием, когда он восклицает:

Что за нелепость — крестьянин несеченый?
Нечем тут хвастать, а лучше молчать:
Темные пятна души изувеченной
Русскому глупо скрывать.
Неисчислимы орудья клеймящие.
Если кого не коснулись они,
Это — не Руси сыны настоящие,
Это — уроды. Куда ни взгляни,
Все под гребенку подстрижено,
Сбито с прямого пути,
Неотразимо обижено...⁶

Неотразимая обида, ощущение клеймящих орудий — вот ключ к поэзии Некрасова. Он за многих взял на себя великую тяжесть, он прошел сквозь строй и нарушил прозрачный мир поэтических настроений, чтобы сделаться криком, предупреждающим и грозющим. Жизнь его ранила, он умышленно углубил свою рану. Она причинила ему незабываемый шрам, он с умыслом поддерживал в этом шраме болезненную живучесть, чтобы помнить о тех, которые были и будут ранены вновь и вновь. Это — великое самоотвержение, потому что у каждого поэта есть неизбежное и вечное тяготение к области чисто личного, стремление к красоте спокойной созерцательности. Такое стремление было и у Некрасова. Мы можем это видеть хотя бы из того, что в год своей смерти он написал знаменитое стихотворение «Баюшки-баю», где лучшие строки до поразительности близки нашей современной утонченной впечатлительности.

...Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
«Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!

Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб — ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!

Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы»⁷.

Некрасов занимает равноправное место в ряду семи великих русских поэтов 19-го века.

Пушкин — наше солнце, он гармоническое все, кудесник русской речи и русских настроений, полнозвучный оркестр, в котором есть все инструменты.

Лермонтов — звездная душа, родственная с тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились воздушные океаны и с которым говорили демоны и ангелы.

Тютчев — мудрец, проникший в слитные голоса стихий и впервые постигший ночной облик великого мирового Хаоса.

Фет — нежнейший певец неуловимых ощущений, воздушных, как края вечерних облаков, и странно-прозрачных, как тихие жуткие воды глубокого затона.

Кольцов — воссоздатель народной песни, выразивший прелесть степных пространств.

Баратынский — поэт душевного раздвоения, художник философских мгновений.

Некрасов — первый посмевавший создать музыку диссонансов и живопись уродства, он — многослитный возглас боли и негодования, мы с детства узнаем через него, что есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы, он до сих пор говорит нам, что, вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые задыхаются.

